

# Артур Шопенгауэр

## Об университетской философии

То обстоятельство, что философия преподается в университетах, несомненно приносит ей немалую пользу. Благодаря этому она получает гражданские права, и ее знамя водружается перед глазами людей, — что постоянно приводит на память и делает заметным ее существование. Но главная выгода отсюда та, что с ней знакомятся и получают импульс к ее изучению молодые и способные головы. Надо, впрочем, признаться, что человек, имеющий к ней дарование и именно поэтому чувствующий в ней потребность, все равно, конечно, нашел бы и усвоил ее и без того. Ибо что соединено взаимной любовью и друг для друга рождено, то легко между собою встречается: родственные души уже издавна меняются приветом. Всякая книга любого подлинного философа, попавши в руки такому философски-одаренному человеку, даст ему более мощный и действительный толчок, чем это могут сделать, лекции тех университетских философов, каких мы видим в наши дни. Уже в гимназиях надо было бы прилежно читать Платона, потому что он — наиболее сильный стимул для философского ума. И в общем я постепенно пришел к тому мнению, что упомянутая польза университетской философии перевешивается тем вредом, который философия как профессия причиняет философии как свободному исканию истины, или философия по поручению правительства — философии по поручению природы и человечества.

Дело в том, что прежде всего немецкое правительство не станет платить жалованья людям за то, чтобы они прямо или хотя бы косвенно противоречили тому, что по его указу возвещается со всех церковных кафедр поставленными им пасторами, или вероучителями: ибо такого рода противоречие, по мере своего воздействия, должно было бы подрывать значение названного более раннего института «...» Тем, кто преподает философию при таких ограничениях, остается, следовательно, только одно — искать новых оборотов и форм, предлагая под ними облеченное в абстрактные выражения и через это ставшее плоским содержание государственной религии, которое и получает тогда название философии. Если же тот или другой преподаватель захочет сделать что-нибудь сверх того, то он или отклонится в соседние области, или прибегнет к разного рода невинным шуточкам, каковы, например, трудные аналитические вычисления о равновесии представлений в человеческой голове, и тому подобный вздор. Впрочем, такие ограничения нисколько не смущают университетских философов, потому что серьезно-то они заботятся только о том, как бы честно заработать хороший кусок хлеба для себя, для жен и ребят и получить известный авторитет в глазах людей. А глубокую душу истинного философа, все великое рвение которого заключается в том, чтобы отыскать ключ к нашему столь же загадочному, сколько и непрочному бытию, — такого философа причисляют они к мифологическим существам; или же при встрече с ним признают они его одержимым мономанией. Ибо о том, что к философии действительно относятся с неподдельной, суровой серьезностью, об этом обыкновенно ни один человек не думает меньше, чем ее преподаватель, — подобно тому как самым неверующим католиком обычно бывает папа. Вот почему действительный философ, который был бы в то же время преподавателем философии, принадлежит к самым исключительным явлениям «...»

Легко поэтому видеть, что при подобных обстоятельствах университетская философия не может, конечно, обойтись без того, чтобы не поступать подобно одной из длинноногих цикад:

Прыжок туда, скачок сюда, — Но к той же травке льнет всегда.

Да и риск при этом заключается единственно в возможности, которую все-таки надо допустить, – в возможности того, что последнее доступное человеку проникновение в природу вещей, в его собственное существо и сущность мира, не совсем совпадает с учениями, частью открытыми старому народу евреев, частью появившимися 1800 лет тому назад в Иерусалиме. Чтобы раз навсегда покончить с этой опасностью, профессор философии Гегель изобрел выражение «абсолютная религия», которым он и достиг своей цели, – ведь он знал свою публику; да религия эта для университетской философии действительно и. самым подлинным образом абсолютна, т. е. такова, что непременно должна быть абсолютно и безусловно истинной, иначе...!

Другие же из этих искателей истины спаивают философию и религию в какой-то кентавра, которого они называют религиозной философией; они так и учат обыкновенно, что религия и философия собственно одно и то же, – положение, которое однако справедливо, по-видимому, в том лишь смысле, в каком, говорят, Франциск I весьма миролюбиво заметил относительно Карла V: «мы с братом Карлом желаем одного и того же», именно – Милана. Третьи не обнаруживают такой церемонности, а прямо говорят о христианской философии, что выходит в роде того, как если бы кто-нибудь стал говорить о христианской арифметике, которая не всякое лыко ставить в строку. Такого рода заимствованные из вероучений эпитеты к тому же явно не приличествуют философии, потому что она выдает себя за попытку разума решить проблему бытия собственными силами и независимо от всякого авторитета. В качестве науки ей совершенно нет дела до того, во что можно, или следует, или должно верить: она занимается лишь тем, что доступно знанию. Но если бы даже последнее оказалось чем-либо совершенно иным, нежели то, во что надлежит веровать, то и это не нанесло бы урона вере: ибо на то она и вера, чтобы обнимать то, чего нельзя знать. Если бы и последнее можно было знать, то существование веры было бы совсем бесполезно и даже смешно, – в роде того как если бы кто-нибудь предложил по вопросам математики еще и вероучение. В случае же, если человек убежден, что вся истина, целиком заключается и выражается в государственной религии, – в добрый час, пусть он ее и держится, отказавшись от всякого философствования. Но пусть не стараются казаться тем, чего нет на самом деле. Якобы беспристрастное искание истины, соединенное с предвзятым решением сделать результатом и даже критерием и контролем его государственную религию протестантизма, прямо возмутительно, и такая философия, как цепная собака к стене, привязанная к протестантизму, не что иное как жалкая карикатура на высшее и благороднейшее стремление человечества. Между тем, один из главных параграфов в программе университетских философов как раз и заключается в той религиозной философии, которую мы называли выше кентавром и которая собственно сводится к своего рода гностике, а также к философствованию с помощью некоторых излюбленных, совершенно не обоснованных, предположений «...»

Правда, эти ручные философы делают иногда такой разбег, который покажется опасным; но к этому можно отнестись с полным спокойствием, в уверенности, что они все-таки придут к раз навсегда поставленной цели. Поистине, иногда хочется думать, что их философские изыскания во всей своей серьезности закончены ими еще до двенадцатилетнего возраста и что уже тогда окончательно установилось их воззрение на сущность мира и на то, что с нею связано: после всех философских рассуждений и головокружительных уклонений, под руководством отважных проводников, они в конце концов всегда приходят к тому, правдоподобность чего внушается нам обыкновенно в названном возрасте и что они, по-видимому, принимают даже за критерий истины. Все иноверные философские учения, с которыми им приходится иметь дело в течение своей жизни, как им кажется, существуют только для того, чтобы получать себе опровержение и

тем служить к вящему подтверждению собственных догматов. Даже удивлению подобно, как это они, проводя свою жизнь с таким обилием злых ересей, сумели однако в полной чистоте сохранить свою внутреннюю философскую невинность.

У кого после всего сказанного остается еще какое-нибудь сомнение в духе и целях университетской философии, тот пусть посмотрит на судьбу гегелевской лжемудрости «...».

Справедливость требует однако, чтобы об университетской философии судили не только, как это сделали мы здесь, с точки зрения ее показной, но и с точки зрения ее истинной и подлинной цели. А эта последняя к тому, что будущие референдарии, адвокаты, врачи, кандидаты и педагоги даже в самой глубине своих убеждений получают направление, соответствующее видам, какие имеет на них государство и его правительство. Против этого я ничего не имею возразить и потому в данном отношении умолкаю. Ибо я не считаю себя компетентным судьей по вопросу о необходимости или излишестве подобного политического средства: я предоставляю это тем, на которых лежит тяжелая задача управлять людьми, т. е. поддерживать законы, порядок, спокойствие в мире среди многомиллионной массы существ, в огромном большинстве случаев безгранично-эгоистических, не знающих правды и справедливости, нечестных, завистливых, злобных и притом весьма ограниченных и упрямых, и охранять немногих обладателей какого-либо достоинства – против бесчисленного множества тех, у кого нет ничего, кроме физических сил. Задача этих правителей так трудна, что я по истине не дерзаю спорить с ними о средствах, пригодных для ее решения. Ибо слова: «я каждое утро благодарю Бога, что мне не надо заботиться о римской империи» всегда были моим девизом. Но именно государственные цели университетской философии и стяжали гегелевщине столь беспримерное министерское благоволение. Ибо для нее государство было «абсолютно совершенным этическим организмом», и всю цель человеческого бытия она сводила к государству. Могла ли существовать лучшая подготовка для будущих референдариев, а затем правительственных чиновников, чем та, в силу которой все их существо и жизнь, тело и душа, целиком отдавались государству, как пчела принадлежит улью, и в силу которой им ничего другого не оставалось добиваться ни в этом, ли в каком-либо ином мире, кроме того, чтобы стать колесами, пригодными содействовать поддержанию хода великой государственной машины... Таким образом, референдарий и человек вполне здесь совпадали. Это был истинный апофеоз филистерства.

Но иное дело – отношение такой университетской философии к государству, а иное дело ее отношение к философии самой по себе, которую в этом смысле можно характеризовать как философию чистую, в отличие от философии прикладной. Философия чистая не знает иной цели, кроме истины, и всякая другая цель, которой стараются достигнуть с ее помощью, легко может оказаться губительной для ее единственной функции. Ее высокая задача – удовлетворение той благородной потребности, названной мной метафизической, которая во все времена глубоко и живо дает себя чувствовать человечеству, сильнее же всего тогда, когда авторитет религии, как это замечается, именно теперь на Западе, все более и более падает. Именно, религия, рассчитанная на массу человеческого рода и к ней приноровленная, может содержать в себе лишь аллегорическую истину «...» Профессору философии и в голову не приходит исследовать вновь появляющуюся систему с точки зрения ее истинности, – он тотчас обращает все свое внимание на то, может ли она быть согласована с учениями государственной религии, с видами начальства и с господствующими воззрениями эпохи. Сообразно с этим он и решает ее судьбу. Если же она тем не менее проложит себе путь, если, благодаря своей поучительности и новым выводам, она привлечет к себе внимание публики, так что последняя найдет ее достойной изучения, то ведь тогда восседающая на кафедре философия в такой же мере должна

будет лишиться этого внимания, своего кредита и, что еще хуже, своего сбыта «...». Вот почему нельзя допускать ничего подобного, и все должны стоять за одного. Соответствующий метод и тактику скоро подсказывает счастливый инстинкт, каким одарено всякое существо для своего самосохранения «...».

Солидарно в качестве братьев единой мысли и равного ума, принять такое неудобное произведение за *non avenue*, с беспристрастнейшим видом признать выдающееся ничтожным, глубоко продуманное и вечное – не стоящим разговора, чтобы тем заглушить его; коварно сжать губы и молчать, молчать тем молчанием, которое изобличил уже старик Сенека; в то же время тем громче кричать о недоношенных и уродливых порождениях сотоварищей, в успокоительном сознании, что ведь то, о чем никто не знает, как бы совсем не существует, и что вещи на свете слынут за то, чем они кажутся и называются, а не за то, что они есть, вот самый надежный и безопасный прием против чужих заслуг, – причем, который я и рекомендую всем тупицам, снискивающим свое пропитание занятиями, для которых нужны более высокие дарования; при этом не ручаюсь однако за их позднейшие результаты. Впрочем «...» все это лишь – одна сцена из спектакля, который можно наблюдать во все времена, во всех искусствах и науках, – я говорю о старой борьбе тех, кто живет для дела, с теми, кто живет от него, или тех, кто есть, с теми, кто выдает себя. Для одних дело – цель, по отношению к которой их жизнь служит не более как средством; для других оно – средство и даже обременительное условие для жизни, для благосостояния, для наслаждения, для семейного счастья, на что только и направлено все их помышление, ибо здесь – предел, который им отмежевала природа. Кому нужны примеры и детали, тот пусть изучает историю литературы и читает жизнеописания великих мастеров в каждом деле и искусстве. Тогда он увидит, что так было во все времена, и поймет, что так же будет и впредь. Для прошлого признает это всякий, – почти никто не видит этого в настоящем. Блестящие страницы в истории литературы почти сплошь – страницы трагические. Во всех областях они показывают нам, как обыкновенно заслуге приходилось ждать, пока шуты не вышутятся, попойка не придет к концу и все отправятся спать: тогда она подымалась, как призрак из глубокой ночи, чтобы хоть тенью занять наконец свое почетное место, которого не признавали за нею при жизни.

Однако, мы имеем здесь дело только с философией и ее представителями. Здесь вот и оказывается прежде всего, что искони весьма немногие философы были профессорами философии и что относительно еще меньше профессоров философии были философами; можно бы сказать, что подобно тому, как идеозлектрические тела не бывают проводниками электричества, так и философы не бывают профессорами философии. В самом деле, для самостоятельного мыслителя эта профессия Пожалуй более неудобна, чем всякая другая. Ведь кафедра философии до некоторой степени – место публичной исповеди, где человек *coram populo* излагает свой символ веры. Но действительному приобретению основательного или истинно-глубоких воззрений, т. е. выработке подлинного мудреца, почти ничто не препятствует в такой мере, как постоянная обязанность казаться мудрым, выкладывание мнимых знаний: перед любознательными учениками и обладание готовыми ответами на все возможные вопросы. А всего хуже то, что человека в подобном положении, при всякой мысли, какая еще только в нем зашевелится, уже начинает тревожить забота а том, насколько эта мысль согласуется с видами начальства: это так парализует его мышление, что в конце концов мысли уже не осмеливаются возникать сами. Для истины атмосфера свободы необходима «...».

Когда же я обращаю теперь свои взоры на тех мнимых философов, которые появились за полстолетие, истекшее со времени Канта, – я не вижу, к сожалению, ни одного, о ком бы мог сказать, что его истинная и исчерпывающая забота состояла в исследовании истины.

Напротив, я нахожу, что у всех у них мысль, хотя и не всегда вполне сознательно, была направлена на простую внешность дела, на эффекты, на импонирование, даже мистификацию, и что все они ревностно старались получить одобрение начальства, а затем студентов, – причем последнюю целью всегда являлось спокойное проживание получаемых доходов – детишкам на молочишко. Так оно, собственно говоря, и свойственно человеческой природе, которая, как и всякая животная природа, непосредственно заинтересована только в том, чтобы есть, пить и размножаться, но сверх того, в качестве своего особого надела, получила еще и страстное желание блистать и выдаваться. Между тем, для действительных и подлинных созданий в философии, как и в поэзии и изящных искусствах, первое условие – совершенно ненормальная склонность, которая, вопреки обыкновению человеческой природы, на место субъективного стремления к благу собственной личности ставит стремление вполне объективное, направленное на постороннюю для личности цель, и которая поэтому весьма удачно названа эксцентричной, иногда же, правда, вышучивается и под названием дон-кихотства. Но уже Аристотель сказал: «Вопреки советам иных, не надлежит нам, будучи людьми, о людском думать и, будучи смертными, помышлять о смертном; нет, насколько возможно, надо причащаться бессмертному и все делать так, чтобы жить согласно с лучшим, что в нас есть». Такое направление ума, конечно, – в высшей степени редкая аномалия, плоды которой, однако с течением времени, именно поэтому, идут на пользу всему человечеству, ибо они, к счастью, из тех, что могут сохраняться. Говоря точнее: мыслителей можно разделить на таких, которые думают для себя самих, и таких, которые думают для других: эти – правило, те – исключение. Первые поэтому – самостоятельные мыслители в двойном и эгоисты в благороднейшем смысле слова: только от них до них мир обретает поучение. Ибо только тот свет, который человек зажег для себя самого, светит впоследствии другим, так что этическое правило Сенеки: «ты должен жить для другого, если хочешь жить для себя», в интеллектуальной области заменяется обратным: «для себя должен ты думать, если хочешь думать для всех». Но это и есть редкая, ни для какого умысла и доброй воли недоступная аномалия, без которой однако з философии невозможен никакой действительный прогресс. Ибо для других людей или вообще для косвенных целей, ум никогда не приходит в высшее, нужное для этого напряжение, которое как раз требует от человека забвения самого себя и всех целей, – а если так, дело на лад не идет и остается только видимость его. Правда, при этом, конечно, разные лады комбинируются в кое-какие раньше найденные понятия, и таким образом как бы возводятся карточные домики; но ничего нового и настоящего мир через это не получает. Прибавим еще к этому, что люди, для которых собственное благосостояние – истинная цель, а мышление – только средство для нее, постоянно должны иметь в виду случайные потребности и наклонности современников, намерения правительства и т. д. Такие условия не пролагают пути к истине, отыскание которой, даже если честно направить на нее взоры, представляет бесконечные трудности.

Да и вообще, как может тот, кто ищет для себя и семьи безгрешных доходов, одновременно посвятить себя истине, – истине, которая всегда была опасной спутницей, всюду была нежеланной гостьей, почему, вероятно, ее и рисуют нагой, так как ничего собой не приносит, ничем не может одарить и требует, чтобы ее любили только ради нее самой? Нельзя одновременно служить двум столь различным господам, как мир и истина, у которых нет ничего общего: такая попытка ведет к лицемерию, к угодничеству, к двоедушию. И тогда может случиться, что из жреца истины выйдет поборник лжи, который старательно учит тому, во что он сам не верит, при этом губит время и головы доверчивого юношества и даже, отрекаясь от всякой литературной совести, становится глашатаем влиятельных пачкунов, – например, ханжествующих медных лбов. Или может случиться, что, находясь на содержании у государства и для государственных целей, человек только тем и занят, что обоготворяет государство, выдает его за вершину всех

человеческих стремлений и всего существующего и этим не только превращает философскую аудиторию в школу пошлейшего филистерства, но в конце концов, как, например, Гегель, приходит к возмутительной теории, будто назначение человека растворяется в государстве, на подобие того как улей поглощает пчелу, – что совершенно искажает высокую цель нашего бытия.

Что философия не пригодна быть хлебным ремеслом, на это указал уже Платон, – в своих характеристиках софистов, которых он противопоставляет Сократу; всего же забавнее, с неподражаемым комизмом описал он деятельность и успехи этих людей во вступлении к «Протагору». Зарабатывать деньги философией – это всегда у древних было признаком, отличавшим софиста от философа. Отношение софистов к философам было, таким образом, вполне аналогично отношению между девушками, которые отдавались по любви, – и проститутками «...».

Общественное мнение по этому вопросу было настолько прочно, что оно вполне царило даже еще при позднейших императорах: по Филострату, даже еще Аполлоний Тианский главным образом ставит в укор своему противнику Евфрату торговлю мудростью «...».

В 42-м послании он говорит о себе самом, что при нужде решился бы взять милостыню, но никогда, даже в бедственном положении, не взял бы платы за свою философию «...».

Это исконное воззрение имеет свое разумное основание и вытекает из того, что у философии есть действительно много точек соприкосновения с человеческой жизнью, как общественной, так и частной; поэтому, когда из нее извлекают барыши, то умысел тотчас берет верх над мыслью, и мнимые философы превращаются в паразитов философии. Последние же будут с помехой и враждой относиться к деятельности подлинных философов, даже составят против них заговор, лишь бы только устроить свои собственные дела. Ибо где до прибыли коснется, там употребляют и всевозможные низкие средства – заговоры, стачки и т. д., чтобы, из своекорыстных целей, дать простор и силу всему дурному и ложному, – причем, конечно, возникает необходимость подавлять начала противоположные, т. е. все истинное, подлинное и ценное. Но нет человека, менее способного к таким хитростям, чем действительный философ, которому случится попасть в сферу этих ремесленников. – Изящным искусствам, даже поэзии, мало вредит то обстоятельство, что они тоже служат иным для барыша: ибо каждое из их произведений имеет свое собственное, обособленное существование, и дурное не может ни вытеснить хорошего, ни затмить его. Философия же, это – нечто целое, т. е. некоторое единство, и она имеет дело с истиной, а не с красотой, – существует многообразная красота, но лишь одна истина, подобно тому как муз много, а Минерва только одна. Вот отчего поэт может смело пренебрегать бичеванием дурного, но у философа может явиться необходимость делать это. Ибо вошедшее в силу дурное выступает здесь с прямой враждой к хорошему, и разрастающийся бурьян заглушает растения полезные. Философия, по своей природе, исключительна, – она обосновывает мирозозерцание данной эпохи: вот почему господствующая система, как сыновья султанов, не терпит возле себя никакой другой. К этому присоединяется, что суждение здесь в высшей степени трудно, да и самое получение данных для него сопряжено с большими усилиями. Если здесь, благодаря уловкам, ложь получает себе влияние и наемные Стенторовы голоса повсюду выкрикивают ее за истинное и подлинное, то этим отравляется дух времени, порча захватывает все отрасли литературы, останавливается всякий умственный полет, и против действительно хорошего и настоящего во всякой области воздвигается бастион, которого хватает на долгое время «...».

Да, я все более и более склоняюсь к тому мнению, что для философии было бы плодотворнее, если бы она перестала быть ремеслом и не выступала более в повседневной жизни, представляемая профессорами. Это – растение, которое, подобно альпийской розе и эдельвейсу, преуспевает лишь на свободном горном воздухе, при искусственной же культуре вырождается. Ведь упомянутые представители философии в Повседневной жизни представляют ее большей частью только да подобие того, как актер представляет царя. Разве, например, софисты, с которыми так неустанно боролся Сократ и которых Платон делал мишенью своих насмешек, – разве они были чем-либо другим, как не профессорами философии и риторики? Да и не эту ли, собственно, исконную борьбу, никогда с тех пор вполне не прекращавшуюся, продолжаю вести еще по сей день и я? Высшие стремления человеческого духа как-то и не уживаются с барышом: их благородная природа не может с ним совмещаться. – Во всяком случае, можно было бы еще допустить университетскую философию, если бы люди, поставленные ее учителями, полагали исполнение своего призвания в том, чтобы по примеру других профессоров сообщать подрастающему поколению то, что в данный момент признается в их специальности за истину, т. е. если бы они правильно и точно излагали своим слушателям систему последнего по времени действительного философа и обличали им усвоение ее: с этим, говорю я, можно было бы, конечно, помириться, если бы притом они обнаруживали хоть настолько рассудительности или по крайней мере такта, чтобы не считать философами простых софистов, например, какого-нибудь Фихте, Шеллинга, не говоря уже о Гегеле. Но не только им обыкновенно недостает указанных качеств, но они еще одержимы несчастной фантазией, будто на их обязанности лежит самим разыгрывать философов и одарять мир плодами глубокомыслия. Отсюда и выходят те столь же мизерные, сколько и многочисленные, произведения, в которых дюжинные головы, а иногда даже такие головы, которых нельзя назвать и дюжинными, трактуют проблемы, на решение которых в продолжение тысячелетий направлялись величайшие усилия самых редких умов, одаренных необычайнейшими способностями, забывавших ради любви к истине свою собственную личность и страстным исканием света доводивших себя порою до темницы и даже эшафота, – умов, настолько редких, что история философии, протекая вот уже два с половиной тысячелетия наряду с историей государства, как ее основной бас, едва может указать столько славных философов, чтобы число их составило 1/100 того, сколько политическая история может отметить славных государей: ибо это совершенно единичные головы, в которых природа дошла до более отчетливого самосознания, чем в других. Но именно эти люди стоят настолько далеко от обычного уровня и толпы, что большинство в них получили себе надлежащее признание лишь после своей смерти или по крайней мере в глубокой старости. Ведь, например, даже истинная, громкая слава Аристотеля, которая впоследствии распространилась шире, чем всякая другая, началась, по всем признакам, лишь спустя 200 лет после его смерти. Эпикур, имя которого еще теперь известно даже большой публике, до самой смерти прожил в Афинах в полной неизвестности. Бруно и Спиноза приобрели славу только через сто с лишним лет после своей смерти. Даже Давид Юм, при всей ясности и популярности своего изложения, стал пользоваться авторитетом только 50-ти лет от роду, хотя его произведения вышли гораздо раньше. Кант стал знаменитым, когда ему было уже более 60 лет. С университетскими профессорами нашего времени дело идет, конечно, быстрее, – ведь им не приходится терять времени: именно, один профессор объявляет учение своего процветающего в соседнем университете коллеги за достигнутую наконец вершину человеческой мудрости, и тот сейчас же становится великим философом и немедленно занимает свое место в истории философии, – именно в той истории, которую третий коллега подготавливает к ближайшей ярмарке и в которой он, вполне беспристрастно к бессмертным именам мучеников истины, взятым из всех столетий, присоединяет достолюбезные имена своих, в данную минуту процветающих и хорошо оплачиваемых товарищей, выдавая их за философов, которые тоже могут идти в счет, так как они исписали очень много бумаги и

приобрели общий почет у своих коллег. Отсюда и получаются такие, например, сочетания, как «Аристотель и Гербарт» или «Спиноза и Гегель», «Платон и Шлейермахер», и изумленный мир узнает, что философы, которых скупая природа некогда могла производить лишь единицами в течение веков, за эти последние десятилетия всюду произросли как грибы, среди известных своими высокими дарованиями немцев. Конечно, этой блестящей эпохе всячески стараются споспешествовать; вот почему, как в ученых журналах, так и в собственных произведениях, один профессор философии никогда не преминет с важной миной и должностной серьезностью подвергнуть тщательному рассмотрению дикие вымыслы другого, – так что дело имеет такой вид, будто здесь действительно совершается прогресс человеческого знания «...».

Столь многочисленные обыденные головы, считающие себя обязанными в силу своей должности и звания изображать собою то, к чему природа всего менее их предназначала, и брать на себя ношу, которая по плечу только исполинам ума, на самом деле являют по истине жалкое зрелище. Конечно, тяжело слышать пение хрипящих, смотреть на пляску хромых, но внимать философствованию человека ограниченного, – это прямо невыносимо. Чтобы скрыть отсутствие действительных мыслей, иные прибегают к импонирующему аппарату длинных и сложных слов, вычурных оборотов, необозримых периодов, новых и неслыханных выражений: все это вместе и образует возможно более трудный и отзывающийся ученостью жаргон. И тем не менее смысла во всем этом не имеется: не получаешь никаких мыслей, не обогащаешь своего миропонимания, – остается только вздохнуть и сказать: «стук мельницы я слышу, но муки не вижу», или же убедиться в том, какие жалкие, заурядные, пошлые и грубые воззрения скрываются за высокопарной трескотней. И чтобы таким горе-философам можно было внушить понятие об истинной и страшной заботе, с какой захватывает и до глубины души потрясает мыслителя проблема бытия! Но тогда они не могли бы уже быть горе-философами, не могли бы уже спокойно высиживать праздные увертки об абсолютной мысли или о противоречии, будто бы кроющемся во всех основных понятиях, – не могли бы с завидным удовольствием забавляться пустыми орехами вроде того, что «мир есть бытие бесконечного в конечном» и «ум есть рефлекс бесконечного в конечном» и т. д. Им пришлось бы плохо: ведь они хотят быть философами и вполне оригинальными мыслителями. Но чтобы обыкновенная голова имела необычные мысли, это так же невероятно, как то, чтобы на дубе росли абрикосы. Обычные же мысли всякий и сам имеет, и нет нужды их вычитывать у другого; а так как в философии все дело лишь в мыслях, а не в опытах и фактах, то обыкновенные головы ничего здесь и не могут дать. Некоторые, сознавая это неприятное обстоятельство, набрали запас чужих, по большей части не вполне понятых и всегда поверхностно понятых мыслей, которые к тому же, в их головах, всегда подвергаются еще опасности испариться в простые фразы и слова. С этими мыслями они и суются туда и сюда, всячески стараясь пригнать их одну к другой, словно кости в домино: они сравнивают, что сказал этот, а что тот, и что еще третий, затем четвертый, и стараются отсюда чего-нибудь добиться. Напрасно было бы искать у таких господ какого-либо прочного, на интуитивной основе покоящегося и потому во всех своих частях объединенного, коренного воззрения на вещи и мир; поэтому у них и нет ни о чем вполне решительного мнения или определенного, прочного суждения, – они как в тумане идут ощупью со своими заученными мыслями, взглядами и оговорками. Они собственно только для того и добивались знания и учености, чтобы передать их дальше. Прекрасно: но в таком случае они не должны разыгрывать из себя философов, а должны уметь отличать овес от мякины. Действительные мыслители домогаются уразумения, притом ради него самого: ибо они пламенно желают во что бы то ни стало уяснить себе мир, в котором они находятся, а не думать о том, чтобы учить и пустословить. Вот почему у них медленно и постепенно, в результате настойчивого размышления, вырастает прочный и стройный основной принцип, всегда имеющий своим базисом наглядное понимание мира и служащий



исходным пунктом для всех частных выводов, которые сами в свою очередь бросают свет на этот основной принцип. Отсюда и получается, что у них по крайней мере есть решительное, хорошо понятое и связанное со всем остальным мнение о всякой проблеме жизни и мира, и потому им нет нужды отделяться от кого бы то ни было пустыми фразами, как это, напротив, практикуют наши горе-философы, которые постоянно заняты сравнением и оценкою чужих мнений о вещах, вместо того, чтобы иметь дело с самими вещами: можно бы подумать, будто речь идет об отдаленных странах и подвергаются критическому сравнению известия, сообщаемые о них немногими проникшими туда путешественниками, – а не об расстилающемся перед всеми и открытым для взоров действительном мире. Впрочем, это они говорят:

Что до нас, господа, мы имеем привычку

Подробно редактировать, шаг за шагом,

То, что думали другие, но мы не думаем.

Вольтер

Хуже всего однако во всей этой истории, которая иначе пускай бы продолжалась себе для любителя курьезов, следующее: господа эти заинтересованы в том, чтобы считалось ценным пустое и пошлое. А этой цели они не могли бы достигнуть, если бы, в случае появления чего-либо подлинного, великого, глубоко продуманного, оно тотчас же получало себе должное признание. Поэтому, чтобы подавить его и беспрепятственно пустить в ход дурное, они, по примеру всех слабых, сплачиваются, образуют клики и партии, овладевают литературными газетами, в которых, как и в своих собственных книгах, с глубоким благоговением и важной миной говорят о шедеврах друг друга и таким способом водят за нос близорукую публику. Их отношение к действительным философам напоминает отношение прежних мейстерзенгеров к поэтам. В пояснение сказанного пусть обратятся к появляющимся каждую ярмарку писаниям университетских философов, а также к подготовляющим их появление литературным газетам: пусть, кто понимает дело, посмотрит на то лукавство, с каким эти последние при случае стараются выставить выдающиеся за ничтожное, и те уловки, к каким они прибегают для того, чтобы отвлечь от него внимание публики, памятуя изречение Публия Сира: «Всякая доблесть остается на месте, если о ней широко не разошелся слух». Подите-ка по этому пути и с этими размышлениями все далее назад, к началу этого столетия; посмотрите, каких грехов натворили сначала шеллингианцы, а потом еще гораздо хуже гегелеанцы: преодолите себя, перелистайте отвратительную груду, – ибо чтения ее нельзя требовать ни от одного человека. Подумайте затем и посчитайте, сколько бесценного времени, бумаги и денег должна была за целое столетие истратить публика на эту пачкотню. Конечно, непостижимо и терпение публики, которая читает из года в год бормотанье пошлых философов-ремесленников, не взирая на мучительную скуку, покрывающую его густым туманом, – читает, читает, а мысли все нет: писака, которому самому не преподносилось ничего ясного и определенного, нагромождает слова на слова, фразы на фразы и все-таки ничего не говорит, ибо ему нечего сказать, и он ничего не знает, ничего не думает, и тем не менее хочет говорить и потому выбирает свои слова не с тем, чтобы удачнее выразить свои мысли и выводы, а с тем, чтобы половчее скрыть их отсутствие. Такого рода продукты однако печатаются, покупаются и читаются, – и так дело идет уже целые полвека, причем читатели и не замечают, что они, как говорится по-испански, *paran viento*, т. е. глотают пустой воздух. Впрочем, в видах справедливости, я должен упомянуть, что

для поддержания в ходу этой мельницы часто применяют еще очень своеобразную уловку, изобретение которой надо отнести на долю господ Фихте и Шеллинга. Я разумею хитрый прием – писал темно, т. е. непонятно: вся суть заключается собственно в таком преподнесении галиматсии, чтобы читатель думал, будто – его вина, если он ее не понимает; между тем писака очень хорошо знает, что это зависит от него самого, так как ему прямо нечего сообщить действительно понятного, т. е. ясно продуманного. Без этой уловки господ Фихте и Шеллинг не могли бы поставить на ноги свою лже-славу. Но, как известно, никто не прибегал к этой уловке с такой отвагой и в такой мере, как Гегель. Если бы этот последний с самого начала в ясных и понятных словах высказал нелепую основную мысль своей лже-философии, именно ту, в которой он прямо извращает истинный и естественный ход вещей, выдавая общие понятия, отвлекаемые нами из эмпирического воззрения, возникающие, следовательно, через мысленное опущение определений, иными словами, отличающиеся тем большею пустотою, чем они общие, – выдавая их за первое, коренное, истинно реальное (вещь в себе, по кантовской терминологии), вследствие чего только и получает свое бытие эмпирически реальный мир; если бы, говоря я, он дал ясную формулировку этому чудовищному, этой, по истине, сумасбродной выдумке, и добавил к тому, что эти понятия без нашего содействия сами себя думают и движутся, – то каждый рассмеялся бы ему в лицо или пожал плечами и оставил бы подобный вздор без всякого внимания. И в таком случае даже продажность и низость напрасно стали бы испускать трубные звуки, чтобы величайшую нелепость, какая была когда-либо слыхана, выдать миру за высшую мудрость и этим навсегда скомпрометировать критическую способность немецких ученых. Под оболочкой же непонятной галиматсии дело пошло, и сумасбродство встретило успех:

Глупые люди всегда почитают и любят немало

Всякие обиняки, что скрываются между словами

Лукр. 1,642.

Ободренный такими примерами, почти каждый жалкий писака старался с тех пор писать с вычурной туманностью, чтобы казалось, будто нет слов, способных выразить его высокие или глубокие мысли. Вместо того, чтобы всячески стремиться быть ясным для своего читателя, он как-будто дразнит его вопросом: «Не правда ли, ты не можешь отгадать то что я думаю?». Если же тот, вместо того, чтобы ответить: «а наплевать мне на это!» и отбросить книгу прочь, станет над. нею тщетно мучиться, то в конце концов он придет к мысли, что это должно быть нечто в высшей степени умное, выше его собственного понимания, – и, высоко подняв брови, начнет он величать автора глубоким мыслителем «...».

...Более отдаленный ущерб, какой во всех науках приносит деятельность непризванных, заключается в том, что они воздвигают храм заблуждения, последующему разрушению которого хорошие умы и честные сердца должны иногда посвящать всю свою жизнь. А тем более конечно в философии – в самом общем, важном и трудном занятии.



С любовью,  
электронная библиотека  
[Theosophy-Books.org](http://Theosophy-Books.org)

